

В.В. Розанов
Памяти дорогого друга
(о К.Н. Леонтьеве)

По изданию: Собрание сочинений. Эстетическое понимание истории. Том 28. Москва, 2009 г.

Впервые опубликовано в газете «Русское Слово» № 43, 1896 г. под одноименным названием.

Сладко! Еще перечту. О, слава тебе, песнопевец!
Дивно глубокую мысль в звучную ткань ты облек!
В чьих ты, счастливец, роскошных садах надыхался весной?
Где нажурчали ручьи говор любовный тебе?

Гений поэта

Где? Я нашел песнопевца на ложе недуга, беднее
Старца Гомера, грустней Тасса, страдальца любви!
Но, я таким заставал и Камозенса в дикой пещере,
Так и Сервантес со мной скорбь и тюрьму забывал.

Барон Дельвиг

С невыразимою грустью читаются письма покойного К. Н. Леонтьева к г. Губастову, обнаруженные в январской книжке "Русского Обозрения" за этот год (стр. 422—425).

"...Ваше молчание и ваша неисполнительность — все объяснилось письмом, мною полученным, — тою тоскою и раздражением, о которых вы пишете. Благодарю вас, что вы обо мне вспомнили. Нынешнее лето судьба наша была почти одинакова, т.е. оба мы провели его в тоске и раздражении. Я приехал в мае домой к своим именинам из Москвы больной и простуженный до того, что до половины июля из своего флигеля почти не выходил. Не успел я прийти в себя от этого, как Л. (*соседка по имению*) очень опасно занемогла. Она была у нас, в Кудинове (*родовое имение К.Н. Л-ва, позднее проданное*), приехала дня на два, и вдруг заразилась дизентерией, на которую было в это время поветрие, и осталась у нас почти на месяц в постели. Это поставило весь дом вверх дном; *родные ее и мы делили издержки пополам*; из Калуги нарочно

приезжал доктор для консультации со мною (*К.Н. Л-в по образованию, но не по профессии был медик*). Совещаясь с другим, потому что болезнь была не проста и с разными тонкими и опасными осложнениями, я вынужден был следить за лечением сам, и в то же почти время писал те возражения Достоевскому, которые вы читали в "Варшавском Дневнике". Верьте, мне стоил этот труд больших усилий; вы это поймете: вообразите только себе совпадение серьезного труда мысли, и труда срочного — с заботами о дорогом человеке, с ответственностью за жизнь его, лежащую прямо и почти исключительно на вас!

Едва-едва мы ее подняли и отправили домой; я в первый раз в жизни был рад, что она уехала, до того я был измучен!

Только что я отдохнул от этого, вдруг ответ от князя Голицына: "К сожалению, не могу даже и срока назначить, когда вышло вам деньги!". *Весь июль и половину августа мы все в ожидании его денег жили в долг, заживали аренду вперед и т.п.* Можете опять себе вообразить наше положение! К счастью еще, что, *уплативши вовремя долг свой в один из Калужских банков, я сохранил себе тем кредит, и мне дали еще 300 рублей на девять месяцев; я заплатил все, что нужно было, слугам и в Щелкановские лавки, и с самым небольшим остатком уехал сюда и поселился, по прежним примерам, в скиту, и даже в келье самого покойного отца Климента, и пишу на том столе, на котором и он писал.* Успокоение сердца моего началось только со вчерашнего дня, здесь, в скиту... *Что будет дальше — не знаю; предпочитаю даже и не думать, ибо денег у меня только до 1 октября, и ничего в виду, кроме милости Божией...* Около месяца, по получении княжеской телеграммы, я, каюсь, был в таком унынии, что объявил всем окружающим: Марье Владимировне, Николаю, Варе и т.д., что я ничего не знаю, и знать не хочу, и пусть они сами обо всем — и в том числе обо мне — заботятся... Не писал с тех пор — ни в Кудинове, ни здесь на гостинице, а только молился и шлялся... Не писал не только повестей для Каткова или статей, но даже самых пустых писем, и постоянно завидовал одной здоровой черной свинье, которую я видел проездом в ту минуту, когда она с таким восторгом чесалась об угол сруба. Я не шучу!.. Уверяю вас, что я не шучу... Дело, наконец, не в одних деньгах, но во многом, во многом; и прежде всего в том, что самый "Варшавский Дневник" гибнет без поддержки и утехи... И это после всех тех слов, которые я слышал в Москве и Петербурге. Я не князя осуждаю, ни минуты я его бедного не осуждал, а русскую подлость... И это не мое только, пристрастное, быть может, суждение. Эта история "Варшавского Дневника", о которой один из здешних очень умных иеромонахов воскликнул: "Нет! это отвратительно! У англичан этого бы не случилось... Сколько слов, и ни-

какой поддержки!.." Я надеюсь, что вы меня за этот месяц нравственной и умственной "нирваны" не осудите. Вы согласитесь, что есть предел всякому — даже и *моему в литературных делах* — терпению! Дело это поднял не я!.. Даже и не вы (вам я *благодарен*), а *судьба*. Вы были правы, вызвав меня... Но Россия! Эта г...ная интеллигенция? Эти единомышленники, имеющие имя, деньги, власть? Отдельно взятые, они все окажутся словно и правыми. Но в совокупности, что же это за слабость и за предательство!

Не довольно ли об этом?

Вот уже около 20 дней все жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым. Хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю тоже чем-то вроде жизни той свиньи, которая обеспечена и чешется об угол сруба; но тем-то она и хороша... Покойнее, чем положение литературного *Икара* (вы знаете миф о Дедале и Икаре, летевших с острова Крит через море?). Не знаю, почему нет до сих пор решительных вестей... За ваше "неоставление" на счет варшавского места тоже искренно благодарю: приму все, что придется, с удовольствием... Но заметить надо, что варшавское место лучше даже московского, но в том лишь случае, если... "Дневник" решатся, наконец, поддержать так или иначе.

Но я все пишу вам, а о главной новости не сказал еще. Лизавета Павловна (супруга К.Н., гостившая перед этим долгое время в Крыму, у родственников) вернулась около месяца тому назад... Теперь я нанимаю ей хорошенькую скромную квартирку в Козельске и даю ей на пропитание мою пенсию... При ней Варя и мать Николая".

Письмо от 3 сентября 1880 года.

И еще другое:

"Прошу вас, Константин Аркадьевич, во-первых, извинить меня, что я не ответил в свое время на вашу поздравительную телеграмму. *Ответить телеграммой же — пожалел денег, которых тогда было очень мало*, а письмо писать было некогда. Передайте это и Хитрово с благодарностью...

Сегодня я хочу посягнуть бессовестно на вашу обязательность и убедительно просить вас съездить в Сиротский Суд, чтобы взять там кое-какие бумаги, принадлежавшие моей покойной матери. Ее посмертные желания и т.д. В 1881 году будет 10-летняя давность со дня ее кончины (в феврале) и их уничтожат... Я полагаю, что необходима для этого доверенность, засвидетельствованная нотариусом. Я ее в понедельник (сегодня суббота) вышлю особо. Сегодня у нас — Комитет, и к тому же вы знаете, до чего я тягочусь всяким лишним движением (да

и здоровье очень плохо — между нами прошу вас!). Я очень грешен и виноват пред бедною матушкой, что не исполнил этого давно, но что делать! Если бы даже предположить, что срок 10-летней давности определяется не днем кончины (в феврале 1871 года), а прямо с 1 января 1881 года, то и тогда вам останется до Рождества дня два и до Нового года дня два-три, я думаю, чтобы сделать это при свойственной вам деятельности. Вы понимаете мое раскаяние и мою нравственную потребность, хотя и поздно, но исполнить это.

После Нового года я, вероятно, на недолго буду в Петербурге. *Под величайшим секретом* сообщу вам вот что. К. (редактор "Пет. Вед.") зовет меня приехать на его счет для пользы консервативной партии и т.п. *Я хочу воспользоваться его деньгами больше для пользы службы, чем для пользы публицистики...* Тайну эту я доверяю только Вам; даже Т. И. Ф. она не должна быть известна: его это может очень огорчить и даже восстановить противу меня; он на меня *еще рассчитывает как на литератора!* *А я только о том и думаю, как бы подальше от литературы и особенно от публицистики. Я убежден, что мои гражданские взгляды могут только повредить мне в глазах либерального начальства, а мне теперь кусок хлеба важнее всего.* С женой мы так сжились опять, как никогда...

Я никогда ее так еще не любил и не жалел. Я без нее здесь скучаю, и когда вижу светских и образованных женщин, то просто не понимаю ни их, ни мужей их!.. *Равнодушие мое к литературе и т.п. — полное и все растет и растет...* Я не знаю, как избавиться даже от повестей для Каткова (которого *деньги* мне нужны), и хотя время найдется, когда я больше привыкну к *тонкостям* новой службы, но, вы понимаете, мне *все равно*, кроме жены и Вари¹, с которою они очень сошлись (Бог-то как милостив!), а Варя вдобавок становится такая прекрасная, верная, серьезная дочь, что поискать таких! Оптинские старцы *ее уважают. Вся моя жизнь теперь в них и для них!.. Я сейчас не в силах их выписать из Козельска, но терплю и смиряюсь.*

Все мои мечты — это оставить им что-нибудь... А вы знаете, как я запутался!.. Поэтому и литература теперь может иметь лишь коммерческое для меня значение!.. и т.д. и т.д. А я лично для себя прошу от Бога только одного: христианской кончины живота, безболезненной, непостыдной, мирной, и доброго ответа на страшном судилище Христовом. Я в Угрешском подрыснике был гораздо более "мирянин", чем теперь. И "Варш. Дневн." Сделал свое неизгладимое дело... Стоит ли такие, как мои, вещи писать? Для кого? Для 20 человек, для высокопо-

¹ Служанка-воспитанница из крестьянских девочек. — Ред.

ставленных людей, которые, восхищаясь, не умели и не хотели ничего серьезного сделать ни для Голицына, ни для меня... как писателя? Серьезным я называю тысяч 100—200. Нашлись бы, если бы была воля Божия на проповедь подобных вещей в России. *Но отчизна наша предана уже проклятию, и ничего с ней не сделаешь!*..

Я счастлив теперь в своей семье и не боюсь более смерти — чего же большего человеку желать?..

Благодарю Бога — и за место, за "хлеб насущный", и за примирение с женой, и за Варю, и за равнодушие мое и к России, и к своей собственной славе, и за друзей, которые меня не оставляют.

Простите, что все это сорвалось у меня с пера... Исполните мою просьбу и, еще раз повторяю, не говорите никому пока *об этом настроении моем*, потому что на *мою литературу* в Петербурге иные *влиятельные* люди рассчитывают, — будьте всегда *гробом* тайн, как были" (Письмо от 20 декабря 1880 года).

Бедный, бедный! Вот слова, которые писались кровью. Сколько изящества души в этих заботах о "Варе", больной жене, "Л."; сколько покорности воли Божией! Кто же писал это? Кто были те люди, одного мановения руки которых было достаточно, чтобы отереть пот, слезы этому человеку? Он — светоч земли своей, красота истории родной за этот истекающий век, "вся красная земля", променявший на служение великим идеям, в нем оригинально возникшим, в нем долго вызревавшим. Пройдет еще полвека, и Академия Наук будет оплачивать червонцем каждый обрывок его частного письма, будет отыскивать набросков карандашом его мыслей, раскрывать инициалы и псевдонимы, под которыми он писал в захудалых провинциальных газетках, как это делает Италия для своего Макиавелли, Франция — для Монтескье и Руссо, Германия, но этот до *последнего* времени конгломерат "отечеств" и не имел ума политического равной силы проницания, подобной широты созерцаний, такой страстности патриотизма. Все будет сделано для его имени, как не было ничего сделано для его желудка.

...И годы протекли, и ветряное племя
Кричит: подайте нам *священный* этот прах!
Он *наш*...
Безумно *вкруг него* теснятся и бегут
И в *пышный* гроб...
...Останки тленные кладут.

Сколько скорби в этом посмертном признании; как не нужно оно, как постыдно, и, наконец, как оскорбительно. "Оставьте лежать мои ко-

сти среди тех, кого я любил, видел, знал, кто *при жизни* стер мои раны, с этою "Л.", "Варей", "больною женой". Вам отдана была моя *прижизненная* тревога, с ними, по крайней мере, пусть останется замогильное упокоение. И пожалуйста, не отнимайте у них этого: самого ценного, святого — права покоиться рядом, *наряду, вместе* со мною. И убирайтесь с вашим тщеславием, с вашим "признанием", издавайте — насыщая его — орега omnia мои и переплетайте их в сафьянные переплеты; *мой* оглоданный череп, *мои* усталые руки, не вздымающуюся грудь не уносите отсюда; и даже забудьте, если возможно, где они лежат, и не протаптывайте никогда "народной тропы" к ним своими скверными калошами, для произнесения скверных речей и скверного "завтракания" после речей"...

Я уверен: посмертное признание, посмертное *усвоение* себе героя, писателя, вообще исторического человека, так сказать, *присвоение* его мятущегося толпой из того *частного* круга, в котором он был при жизни — это нечто до такой степени мучительное, столь нестерпимое для присвоенного, такое последнее и непереносимое для него оскорбление, какого обнять умом почти невозможно. "Уж лучше кастаньеты из моего черепа, нежели этот череп в мавзолей... Уж лучше куда-нибудь в анатомический театр и потом на псарню, нежели в торжественную уличную процессию, — с "речами", "венками", и назавтра — с репортерскими отчетами"...

Жизнь и смерть, в таинстве своем глубоко, с такою силой оскорбления — несовместимы; достаточно мефистофельских шуток; такой силы посмертного глумления человек не заслужил, кто бы он ни был и как бы дурно, грешно свою жизнь ни прожил. И, во всяком случае, к умершему мы обязаны уважением безмолвия, ибо, прияв смерть, он принял Божие на себя, он под его грозой, но и под его покровом... От нас он ушел, от нашего суда и пересуд.

Его книги или деяния — пред нами, они *замешаны* в нашу жизнь, они живы еще, и мы их можем судить; его прах неприкосновенен.

Но кто же были те, что лакомились "черною свиньей", к которой приравнивал себя благородный и возвышенный ум? Годы истории протекли, немногие годы, и все стало ясно.

"Вот уже около 90 дней все жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым".

Пред нами превосходное, *своевременное* воспоминание г. Л. Тихомирова: "Конституционалисты 1881 года". Да, это он, скорбный (в сущности) духом Акакий Акакиевич, Акакий Акакиевич по широте поли-

тических созерцаний, по дальней зоркости ума¹; но, странным образом, в уста этого Акакия Акакиевича попал язык Хлестакова, и, внимая дивным речам его... О, речам совершенного Акакия Акакиевича, но производимым с зычностью Хлестакова, история одела его сперва аксельбантами, и далее, далее... Мы не смеем даже *говорить*, что далее... Но это "далее" совершилось.

Акакий Акакиевич сказал, что он не хочет быть "копиистом" в департаменте, но это было 40 лет назад, и тогда качества ума его и сердца не были оценены. Теперь он хочет "изменить судьбы своего отечества", не шедшие до сих пор правильно.

Некоторой "золотой рыбке", долго ему служившей, эта старушка из Армении сказала, что она хочет, чтобы сама рыбка начала ей служить, на ночь чесать пятки и поутру развлекать чтением тогда издававшегося "Голоса"...

Л. Тихомиров рассказывает, что это чуть-чуть не совершилось. Некоторая "parier en question"² относительно "пяток" и "Голоса" была подписана, и он, *даже после 1 марта*, с ног снимал чулки и протягивал свои пятки...

В сущности — он был изменник; он был ренегат, дезертир — в самом обыкновенном, пошлом смысле этого слова, который предусмотрен соответствующей статьей "Воинского Артикула" Петра I.

Но он изменил не перед пушками неприятеля, а перед "линией" газет и журналов русских и частью иностранных, перед болтовней гостиных...

Он изменил не полку, но народу целому...

Он изменил не стогодовой традиции этого полка, а тысячелетней традиции государства.

Он изменил — и был почтен.

Леонтьев был ей предан; он понимал эту традицию страстно и глубоко; он ей до издыхания был верен... И он был презрен.

"Вот уже двадцать дней жду решения моей судьбы Лорис-Меликовым, хотя, разумеется, жизнь цензора я считаю тоже чем-то вроде жизни той свиньи, которая чешется об угол сруба, но тем-то она и хороша"...

Мне думается, в этом миниатюрном факте сконцентрирован весь смысл нашей истории за 200 лет; эти 200 лет — за немногими исключениями "порывов" — если их глубже понять, если их анализировать

¹ Смотри у Л. Тихомирова отметки о Лорис-Меликове, занесенные в "Дневник" свой благодушным А.И. Кошелевым.

² "соответствующая бумага" (*фр.*)

бесстрашно и до конца, суть годы *самоизмены* России, годы исторического ее *саморенегатства*. И вот отчего, кто громче всех кричит: "Обойдены", "пропало все", и первый обертывается и бежит... естественно, что он бежит впереди других и остальные "следуют в его свите".

Вот разгадка судьбы Леонтьева; он, бедный идеалист, держал древко покинутого знамени; он хватал его мотающиеся, простреленные в боях, шелковые лоскутки...

Бедный! конечно, он был раздавлен, и все его сочинения — только крик раздавливаемого человека о правде его знамени, покинутого всеми знамени его родины...

В. Розанов
